

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ



раг давит нас своим железным брюхом...

Кажется, этой фразы нет в собрании сочинений Алексея Толстого. Она прозвучала только по радио в один из самых страшных дней 1941 года.

Меня, тринадцатилетнего беженца из Калуги, она поразила жестокой правдой и брезгливой ненавистью к растленной силе, навалившейся на нас. (Я слушал это выступление из черного рупора над входом в ташкентскую чайхану.)

А зимой 1942 года я увидел Алексея Николаевича на сцене Ташкентского театра оперы и балета. Литературный утренник, устроенный, кажется, для эвакуированных детей. Все выступавшие так или иначе говорят о войне.

Гафур Гулям читает прославленные в то время стихи «Разве ты сирота? Успокойся, родной». Иосиф Уткин вспоминает жуткие в своей четкости и простоте строки из фронтового блокнота: «Я видел девочку убитую...»

И вот на край сцены, рядом с суфлерской будкой, выходит с книгой в руках Алексей Толстой, большой, мирный, уютный.

Луч ramпы упал ему на грудь и раскрытую книгу...

Что же прочтет писатель, которого, как я слышал, Геббельс включил в список главных врагов рейха?

— «Завидев Желтухина, — читал Толстой, — матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный».

Весной 1944 года я заявился из Ташкента в Москву и на первых порах воспользовался гостеприимством Надежды Алексеевны Пешковой. Жил я в том самом доме, который теперь стал филиалом музея А. М. Горького, в комнате, которую посетители мемориального дома знают как «Секретарскую». Каждый вечер, а то и за обедом я читал стихи многочисленным гостям семьи Горького.

Часов в десять вечера Надежда Алексеевна всегда вспоминала, что мне пора спать. Но в этот вечер меня почему-то нарочно задержали за столом. Чтобы чем-то заполнить ожидание, старый друг и соратник Горького Александр Николаевич Тихонов (Серебров) попросил меня почитать новые стихи. Я прочел. И тут этот знаменитый издатель и пропагандист книги гневно вскочил из-за стола. Он расхаживал по комнате, руки в карманах, в зубах погасшая трубка, и гремел:

— Забудь все тобою прочитанное! Разбей эти проклятые очки! Взгляни на мир своими глазами! Будь, черт тебя дери, дикарем!

Я искренне страдал от невозможности последовать его совету.

Большие стоячие часы в столовой пробили полночь. И раздался звонок, от которого все встрепенились: «Он!» Я услышал в дверях знакомый голос и похолодел от ужаса. Алексей Николаевич указал на меня пальцем:

— Кто это?
— Тот самый мальчик, который приехал из Ташкента со стихами,— представила Надежда Алексеевна.
— Много знать! Много читать! Много видеть!— торжественно произнес Толстой, подмигнул мне и улыбнулся: вот, мол, как говорят маститые,— внимай и трепещи! Догадываясь о моем волнении, он нарочно предстал этаким громовержцем, и мой страх перед ним несколько рассеялся.
Читать стихи мне, к великому моему облегчению, в ту ночь не пришлось.
— Терпеть не могу,— объявил Толстой,— когда читают молодые поэты. Они воют, как шакалы. Отправляйся спать. Завтра перепечатаешь стихи на машинке.

Стихи были перепечатаны в домашней библиотеке Горького. Ученый библиограф, розовый старичок по фамилии Подольский, сидя за одним со мной столом, выискивал в книгах едва заметные карандашные подчеркивания Горького и ахал, слушая, как я первый раз в жизни барабаню одним пальцем по старинной, кажется даже мемориальной, машинке. Стихи он называл работками.

— Эта работка мне нравится. А эта, простите, нет.
Толстой прочел «работки» и пригласил меня к себе на дачу. О прочитанных стихах — ни слова. Ничего похожего на то, что можно было бы ожидать от знаменитого писателя.

«Много знать! Много читать! Много видеть!» Это было единственное наставление, да и то произнесенное словно бы в шутку. Всякий раз, когда Толстой замечал, что я смотрю ему в рот, ожидая новых уроков и заповедей на всю жизнь, происходило что-нибудь вроде:

— Миля! Дай, пожалуйста, вина!
— Алешенька!— возражает Людмила Ильинична Толстая.— Валя — маленький, ему нельзя.
— Он — поэт. Значит, все равно научится. Так уж пусть научится от меня. Потом будет говорить: «Бражничать меня научил Алексей Толстой».

Едем в Барвиху, на дачу Толстого. Оглядываясь, вижу вспышки салюта над Москвой. Совсем близко проносятся ветки сосен. Алексей Николаевич оборачивается ко мне и зловеще предупреждает:

— Сейчас с деревьев будут прыгать огромные рыси! Вот и затемненная дача.

— Здесь живет Ягишна, дочка Бабы Яги,— возвещает Толстой.— А это лает чудовищный пес Вотан. Ага, попался! Тут тебя съедят.

Сидим за столом в зале с камином и картинами фламандцев. Зал завершается полукруглой застекленной верандой, уставленной цветами в горшках. С бревенчатой стены смотрит портрет Петра Первого, выполненный разноцветным бисером. Уписываем гречневую кашу и перемигиваемся: а ну, кто больше съест?

— Кто написал лучшие стихи в мире?

Все понятно. Начинается тот серьезный литературный разговор, которого я жду каждую минуту.

— Пушкин,— отвечаю с набитым ртом.

— Нет, я!

Птичка польку танцевала
На лужайке в ранний час,
Нос налево, хвост направо,
Это полька Карабас

Смотрю картины, трогаю разные старинные вещицы. Картины я разглядываю так: сжимаю пальцы в кулак и гляжу в узенькую щелочку. И тогда кажется, что чудища на картине, изображающей искушение святого Антония (Алексей Николаевич уверял, что именно с нее Пушкин писал сон Татьяны), начинают двигаться, семена паучьими лапками и покачивая птичьими головами. Толстой кладет мне руку на плечо и шепчет в ухо:

— По ночам все эти уродцы и карлики выходят из картины и едят мальчишек!

Людмила Ильинична ведет меня на третий этаж, в комнату, где я буду спать, оставляет карманный фонарик и желает спокойной ночи. Над кроватью картина: кораб-

ли петровского времени летят на всех парусах между зеленым морем и голубым небом.

Гашу свет, отодвигаю черную штору светомаскировки. За окном шумит и журчит весна. Проснувшись, спускаюсь в библиотеку. Сказки. Сборники исторических документов. Самые выразительные фразы и слова жирно подчеркнуты красным или синим карандашом. Каждое слово, отмеченное Толстым, кажется мне волшебным. Например, «земнородный». Не вставить ли его в новые стихи?

Вместе с нами завтракает тихая, маленькая старушка портниха. Алексей Николаевич обращается к ней:

— Александра Поликарповна, это вы сидели ночью за трубой и играли на губной гармошке?

Это говорит лауреат, депутат, академик, лицо важное, которому, по мнению старушки, не до шуток. Она оправдывается:

— Да что вы, Алексей Николаевич! Да я всю ночь спала...

Толстой пристально смотрит на нее:

— Так ли?

«Пугает и дразнит, говорит со мной, как с мальчишкой», — думал я, но ни малейшей обиды почему-то не испытывал.

Самое замечательное было то, что я действительно чего-то боялся в его доме, особенно перед сном. Читаешь и стараешься, чтобы взгляд не вышел из светлого круга под настольной лампой. Боялся я огромной шаманской маски в его кабинете, ее застывшей гримасы, маленьких черепов, украшавших ее убор. Боялся чертей с трубками в зубах, нарисованных на полях черновиков Толстого. Боялся некоторых картин: шкурка с лимона снята, как очистки с картошки, завивается в спираль, есть в этом что-то жуткое...

А еще боялся, что всего этого могло или может не быть. Страхи эти возвращали мне детство, резко оборванное войной. С. В. Михалков вспомнил, что Толстой назы-

бал меня цыпленком. В удивительном мире Алексея Николаевича я и вправду чувствовал себя порой, как скворец Желтухий в доме Никиты.

— Алешенька! Валя, наверное, не знает, как ты читаешь. Прочти ему что-нибудь.

Алексей Николаевич уходит в кабинет за книгой и возвращается оттуда другим: на лице колдовское выражение. Он садится за стол и раскрывает массивный, крупного формата однотомник, который сейчас кажется мне древним фолиантом, и мы с Людмилой Ильиничной становимся свидетелями того, как граф Калиостро производит для простодушного русского барина материализацию портрета красавицы тетушки. (Дверь в кабинет приоткрыта, и я думаю о висящем там портрете какой-то прапрабабушки Толстого из древнего рода Тургеневых, дамы в немислимом, прозрачно-голубом чепце.)

— Духи земли Гномусы!— заклинает Алексей Николаевич.— Вас вызываю я именем Невыразимого, которое выговаривается как слог Эша. Придите и делайте свое дело!

Сколько тут было мистики, обдававшей меня, мальчишку, блаженным страхом, и сколько здоровой, мужицкой пародии на нее.

Меня поражало в нем и то, что пишет он не пером, а прямо на машинке (на самом деле было не совсем так) и что стук машинки раздается не слишком часто, ведь Алексей Николаевич сочиняет страницы третьей книги «Петра Первого» в уме, как стихи, и что, в сущности, сочиняя книгу, он работает больше в саду, на клумбах и грядках, чем за письменным столом, и что работа для него — дело, так сказать, интимное,— если он ходит по саду или сидит в кабинете в своей пижаме с белыми и розовыми крупными полосами, это значит — он работает, а переоделся в костюм, при галстукке, с ослепительно белыми манжетами,— значит, отдыхает, можно подойти к нему, поговорить. Поразительно было и то, что на самые первые черновики шла самая удивительная бумага, полотняная, с фактурой,— где он только ее доставал? Правка

сводилась либо к вычеркиванию слова, оборота, фразы, либо к замене двух фраз — одной.

Как-то Людмила Ильинична показала мне тропинку, по которой Алексей Николаевич любил ездить среди полей на велосипеде. «Никакой итальянский пейзаж не сравню с прелестью русского зеленого поля», — однажды сказал он ей, вернувшись после велосипедной прогулки. Меня и это удивляло, пока в более зрелые годы я не понял, что вся прелесть среднерусского пейзажа особенно раскрывается в движении. Не зря, скажем, Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой любили одиночные верховые прогулки.

Людмила Ильинична, молодая, быстрая, со звонким голосом, казалась мне женщиной, придуманной Алексеем Толстым, вышедшей из его книг. Даже имя ее — Людмила Ильинична — было оттуда. Я почти не удивился, увидев в иллюстрациях Шмаринова к третьей части «Петра» женщину, похожую на Людмилу Ильиничну. Когда писалась третья книга «Петра», у меня было странное чувство, будто облик Людмилы Ильиничны каким-то образом живет и в той одной ему ведомой действительности, которую Толстой держит перед собой, работая над романом.

Третья книга «Петра» — вещь особенная еще и потому, что в ней — воздух 1944 года. Мир стремительно, радостно освобождался от фашизма и казался каким-то ярким, омытым, полным надежд и чудес. Будущая победа стояла над ним, как радуга.

— Та самая, какую увидели Гаврила Бровкин с Андрюшкой Голиковым, подъезжая к Москве! — воскликнул знаток А. Н. Толстого фольклорист В. П. Аникин, услышав это мое сравнение. И правда:

«За волнистыми полями, за березовыми рощами, за ржаными полосами, далеко за синим лесом стояла радуга, одна ее нога пропадала в уходящей дождевой туче, а там, где она упиралась в землю другой ногой, сверкали и мигали золотые искры».

Гаврила Бровкин в романе даже удивился: «Сам не понимаю, с чего Москва так играет...»

А это лег на страницы книги отблеск сорок четвертого года с его салютами-зарницами наконец близкой победы.

За обедом Алексей Николаевич внушал своему секретарю Юрию Александровичу Крестинскому:

— Юрий, возьмите ружье и подкараульте ворону, ту, что утащила цыпленка. Вы должны ее убить!

Утром Людмила Ильинична спросила меня:

— Хочешь почитать новую главу «Петра»?

Я взял в руки листки дивной бумаги и сразу увидел перед собой обветшалый Измайловский дворец. Дождь за окном, царевна Наталья Алексеевна мечтает о любви, а Катерина смотрит в окно... «Только одна растрепанная ворона летала низко над седым лугом. Катерина беспечальным взором следила за ней; ей очень хотелось сказать царевне, что ворона-воровка летит на птичник и опять, как вчера, наверно, унесет желтенького цыпленка».

Так злодейка ворона перелетела в петровский век.

— Алексей Николаевич, дайте на ночь что-нибудь ваше, чего я не знаю.

— Что надо, ты, наверное, уже прочел,— отвечает Толстой,— а чего не читал, того и брать не стоит. Возьми Бунина, белое рижское издание, третья полка снизу.

Он мечтал, что Бунин вернется на родину, запомнилась с его слов такая фраза Бунина: «Я зол, хочу домой».

Так и не удалось вызвать Алексея Николаевича на воспоминания. Я уже приготовился запомнить и записать все, что он расскажет о разных знаменитостях. Удалось записать только вот что: «Иннокентий Анненский. Толстой говорит о нем с любовью. Похож на Дон Кихота. Стены кабинета обиты черным бархатом. Стихи доставал из кипарисового ларца и читал с выражением».

— Алексей Николаевич не любит вспоминать,— говорила мне Людмила Ильинична.— Он весь в работе. Память у него — служанка воображения.

Но однажды литературный разговор все-таки состоялся. Я повел прямую атаку:

— Алексей Николаевич, расскажите что-нибудь о писателях, которых вы знали.

— Кто тебя интересует?— хмуро спрашивает Толстой.

— Герберт Уэллс. Ведь вы с ним встречались!

На лице Толстого возникает хорошо знакомое мне озорное выражение, губы обиженно выпячиваются.

— Сlopал у меня целого поросенка, а у себя в Лондоне угостил какой-то рыбкой! Ты заметил, что все его романы заканчиваются грубой дракой? Кто еще тебя интересует?

— Как вы относитесь к Хемингуэю? (Хемингуэй — один из моих кумиров. Толстой не может не любить этого мужественного писателя.)

— Турист,— слышится непреклонный ответ.— Выпивка, бабы и пейзажи. Кто еще?

— А Пастернак?— дрожащим голосом спрашиваю я.

— Странный поэт. Начнет хорошо, а потом вечно куда-то тычется.

Спрашиваю о Брюсове и, узнав, что тот читал стихи, завывая, как шакал («или как ты»), теряю интерес к мировой литературе. Но Толстой уже вошел во вкус игры:

— Почему ты ничего не спрашиваешь про Бальмонта?

Лицо Толстого приобретает просветленное выражение, он прислушивается и как бы издали начинает:

И жабы в черных платьях подползли,
Давнишние создания Аримана,
И молодых колдуний привели,
Еще не знавших прелести дурмана.

— Совершенно потрясающие стихи!— восхищается Толстой.— Жаль, что Бальмонт каждый день писал сонеты про всяких паучков на паутинках,— это вредило его дарованию.

Далее он спросил меня о происхождении русского символизма и сам же ответил на этот вопрос:

— Первым русским символистом, к твоему сведению, был не Бальмонт, а некто Емельянов-Коханский. Ходил в перчатках с когтями, был красив до чертиков, сводил с ума впечатлительных девиц. Он издал сборник символистских стихов и на обложке поместил собственное изобра-

женние с крыльями летучей мыши. После чего женился на купчихе и торговал мукой в лабазе. Когда появился Бальмонт и объявил себя первым русским декадентом и символистом, Емельянов-Коханский бегал за ним с плеткой по всему Петербургу. Во всех ресторанах об этом знали. Когда Емельянов-Коханский появлялся с парадного хода, Бальмонта выводили через кухню... Как видишь, у русского символизма чрезвычайно интересные истоки,— закончил Толстой, победоносно улыбнулся и ушел в кабинет.

Таковыми были почти все наши разговоры. Нельзя было отличить, что говорилось в шутку, что всерьез. Но я никогда не забуду часов, проведенных с Алексеем Николаевичем молча. Мы брали лейки и поливали цветы, разрыхляли землю под карликовыми мичуринскими яблоньками, бродили вечером по саду, слушали, как шумят сосны, как гремит поезд, следили за клубами дыма, которые, перелезев через забор, таяли над нашими головами.

Во время этих молчаливых прогулок и работы в саду я украдкой наблюдал за лицом Алексея Николаевича. Глаза, которые так искрились за беседой, теперь как бы глубже западали в глазницы и глядели из-под нахмуренных бровей куда-то далеко. А руки привычно управлялись с лейкой, граблями, садовыми ножницами. Так, пока я бродил по саду и обедался удивительными ягодами гибрида вишни и черемухи, снимая их горстями со стелющихся веток, Алексей Толстой работал, и на другое утро мне удавалось держать в руках новые страницы «Петра Первого» — итог его трудового дня. Другим итогом был цветущий сад, который как бы сам собой поддерживался в образцовом порядке.

Лишь однажды я решился прервать его работу. Правда, для этого была особо важная причина: от порыва ветра с карликового деревца упали три больших яблока. Я вбежал в кабинет Алексея Николаевича и сообщил:

— Упали яблоки!

Толстой приложил палец к губам, требуя молчания, взял меня за руку, и мы, как два заговорщика, на цыпочках прокрались к яблоне. Одно яблоко Толстой поло-

жил в карман пижамы, другое дал мне, третье разрезал пополам.

— Молчи!— шепотом предупредил он после того, как мы съели яблоко.— Ни слова женщинам. Они собирались их мочить.

«Много работает в саду, сажает, ломает, все ему не терпится, хочет, чтобы все сразу»,— записал я в те времена.

Потомство хотел иметь только от любимых цветов, не похожих на остальные. Чтобы не забыть фаворита, подвязывал стебель под цветком яркой ленточкой. По ленточкам он их находил и собирал семена в пакетки. Под осень в саду у него пестрело больше ленточек на подсыхающих стеблях, чем цветов.

С одним цветком-любимцем он меня познакомил.

— По-латыни его зовут Лупинус!— торжественно представил Толстой, вынул из кармана пижамы алую ленточку и повязал ее ниже цветка, будто орденом наградил.

Людмила Ильинична говорила, что если у него не ладится работа, то Алексей Николаевич берет щетку и с яростью чистит всю обувь под вешалкой в коридоре. Я этого так и не увидел, хоть иногда и подкарауливал. Работа ладилась. Он сказал К. Т. Топуридзе (я записал эти слова):

— Только теперь понял, как надо писать. Теперь в этом нет для меня никакого труда,— одна радость.

Жаркий июльский день. Совершенно счастливый Алексей Николасвич, отдуваясь, вытирая пот, движется среди цветов и весь сияет:

— Кто в наше время пишет вирши? Не смейся. Я имею в виду настоящие вирши, силлабические стихи. Вот послушай:

На горе превеликой живут боги блаженны.
Стрелами Купидо паки они сраженны..
Сам Юпитер стонет,— увы мне, страдаю,
Спокою лишился, ниже лекарства не знаю.

Огонь чрево гложет, жажду, ничем не напьюся,
Ах, напрасно я, бедный, с любовью борюся...
Увы, даже боги бывают злым Купидо побиты,
У кого же людям искать от сего защиты?
Не лучше ли веселиться! Печаль оставим,
Стрелы отравлены сладким вином восславим...

Вирши, прочитанные с выражением, мне очень понравились. Я решил, что Толстой отыскал их в какой-нибудь редкой книге восемнадцатого века и собрался включить в свой роман.

— Эти вирши,— с гордостью произносит Толстой,— сочинены в сороковых годах двадцатого века, точнее — сегодня утром.

Напомню, что в романе их читает царевна Наталья в сцене вальтасарова пира.

В семье Толстых рассказывали: перед войной Алексей Николаевич купался в море, подошли мальчишки, стали его разглядывать и сказали: «Здоровый мужик! Парочку книг еще напишет».

Иногда он уезжал и снова возвращался к «Петру», к цветам.

В 1945 году хотели собрать фильм о Толстом из материалов кинохроники. Оказалось, Алексея Николаевича больше всего запечатлели на пленке как члена Чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских преступлений. Фашизм отступал, и обнажались его страшные следы. Готовился счет, предъявленный потом на Нюрнбергском процессе. Кадры были такие: только что разрытый ров, забитый трупами. На краю рва Толстой. Крупным планом лицо Алексея Николаевича...

Вернувшись, он ничего об этом не рассказывал. Однажды он сказал Людмиле Ильиничне:

— Что-то не дает мне закончить «Петра».

В то лето по ордеру, выписанному на имя гр. А. Н. Толстого, Людмила Ильинична купила коричневый костюм для автора этих строк. Первый «взрослый» костюм в моей жизни.

...Как-то, чуть ли не в присутствии Толстого, я сочинил такую строчку:

Лесные тропы вымощены льдом.

— Похоже на правду,— проворчал Алексей Николаевич (у него сразу испортилось настроение),— и все-таки сочинено, придумано черт знает для чего.

В другой раз я прочел ему стихи о конце лета. Он одобрил строчки:

Пыльный стог линияет на поляне,
Отчужденно светится река...

Я удивился, почему это ему понравилось, а строка о лесных тропинках нет.

— «Отчужденно светится река»... Сегодня взглянул на реку и подумал: «А ведь скоро прощай купанье!» В строчку влезло описание и чувство.

(Теперь я понимаю, что «лесные тропы, вымощенные льдом» — это холодное литературное щегольство. Юный стихотворец словно бы и подметил что-то в природе, а на деле тут сквозит некоторое самодовольство: «До чего же я тонкая натура!»)

При нем было опасно произносить самые привычные слова.

— Мерзкое слово — «учеба». Это значит долбежка. Нужно говорить «ученье».

(Потом я слышал от одного старика: «учба учбой, а нужно еще и разуменис».)

— Извиняюсь! Возвратная форма от глагола извинить, извинять немыслима. Извиняюсь, то есть извиняю себя,— это противоречит всем понятиям о вежливости. Надо говорить «извините».

— Что значит баба-яга? Йог — по-индийски «мудрый». Яга, то есть йога, мудрая. Мудрая женщина, чаще всего старуха, во главе материнского рода. От тех времен остались сказки о мудрой и доброй бабе-яге. Потом наступил патриархат. Женщинам это не понравилось, они злились, а мужчины высмеивали старые порядки. Так в сказках появилась страшная, глупая и злая баба-яга.

...О происхождении поэзий.

Питекантроп сидел у огня в пещере и грыз кость. А в темном углу сидела его жена, существо голодное и жалкое, и облизывалась. Вдруг питекантроп впервые за тысячу лет пожалел свою несчастную подругу. Он не понимал, что с ним творится. Ему очень не хотелось отдавать кость, ибо внутри нее был костный мозг, при одной мысли о котором кружилась голова. Питекантроп чуть было не треснул жену костью по башке. И все-таки он с урчанием оторвал кость от зубов и бросил ее женщине. Так родился первый поэт.

— Этим я хочу сказать,— добавил Толстой,— что поэзия начинается не с рифм, не с образов, а с добрых чувств!

Я жил тогда в Горках Ленинских в интернате и много ездил в пригородных поездах. Под влиянием Толстого я начал записывать вагонные разговоры, собирать частушки, искать «волшебные слова» в самой жизни. Все сколько-нибудь замечательное я показывал Толстому. Тот не оставался в долгу:

«На базаре в Раздорах к тетке-молочнице подходит здоровенный детина призывного возраста:

— Тетка! Налей молока. Пить хочца.

— Миленький, а деньги?

Парень хлоп себя по карману:

— Деньги при мне! — И вылакал литровую банку.

— Миленький, а деньги?

Парень опять хлоп себя по карману:

— Я ж тебе сказал: деньги при мне.

И ушел».

Вот частушки из села Ям Подольского района, которые Алексей Николаевич полушутя назвал шедеврами поэзии:

Подойду я к синю морю
И галошей постучу:
Разреши мне, сине море,
Утопиться я хочу.

Я сидела на рябине,
Меня кошки теребили,
Маленьки котяточки
Царапали за пяточки.

Светит месяц высоко,—
Не достанешь палочкой.
Через Гитлера косо
Не походишь парочкой.

Ой ты, Гитлер косоглазый,
Тебе будет за грехи.
На том свете девки спросят:
«А где наши женихи?»

Алексей Николаевич сказал, что частушка появилась в шестидесятых—семидесятых годах прошлого века, когда ускорился темп народной жизни. Для меня это было совершеннейшей новостью. Устыдившись своего невежества, я тут же, в библиотеке Толстого, начал рыться в трудах фольклористов.

В разрозненных страничках из дневника 1944 года нашел такую запись:

«29 августа. Сегодня, исполняя желание А. Н. Толстого, переданное через его секретаря Ю. А. Крестинского, пришел в литконсультацию Гослитиздата:

— Я стихи пишу...»

До сих пор не пойму, кого решил разыграть Толстой, послав меня в литературную консультацию: консультанта, который неизвестно как меня примет, или же меня самого (я почему-то боялся общества поэтов и сам бы к ним не пошел).

Это показалось мне тем более странным, что раньше, чуть только речь зайдет об издании моих стихов, Толстой всегда был решительно против этого. Он считал — прежде всего мне надо получить высшее и даже не литературное образование.

Консультантом оказалась Надежда Павлович. Она серьезно отнеслась ко мне и познакомила с Антокольским. Пылкий Павел Григорьевич, выслушав стихи, затопал ногами:

— Пошел вон отсюда! Тебе нужно в футбол играть, девчат за косы дергать, а ты пишешь совсем взрослые

стихи. Сколько тебе? Шестнадцать? Выглядишь на двенадцать и при этом похож на марсианина. Ты умрешь! Приходи, когда созрешь физически.

Что они все? Сговорились, что ли? Флегматичный А. Н. Тихонов кричит на меня, Антокольский топает ногами, а Толстой заботливо советует:

— Тебе нужно пожить растительной жизнью. Иначе у тебя зайдет ум за разум.

В тот же день поехал к Толстым в Барвиху и был оставлен ночевать. Вот запись об этом:

«Читал новую главу «Петра». Чудо!

Прогуливался по саду. Вдруг захотелось разводить цветы. Толстой обещал семена. Шел поезд. Дым спесло к нам, через забор. Сверчки подтачивают ночь. Толстой предложил мне заниматься историей искусства, начиная хотя бы с Ренессанса... Его любимый художник Франц Гальс.

Проснулся очень рано. Сырая золотая заря. Ветер крадется по соснам.

Читал «Альбом архитектурных стилей». Потом вышел в сад, принюхивался к каждому цветку, неужели больше не пахнут? Убыль в листе пока еще не заметна. Та, что уже внизу, кажется прошлогодней. Зато убывает тень на дорожках. Толстой показывал свой сад. Поехал с ним и с Л. И. в Москву. Колесили по городу, иногда выходили из машины, Толстой знакомил с архитектурными стилями. Уютный бело-желтый московский ампи́р...»

Наша машина остановилась на площади Революции против «Метрополя». Стоим и молча смотрим на остаток китайгородской стены и за ней зеленое здание с белыми наличниками окон, дворец «тишайшего» Алексея Михайловича.

— С Алешенькой хорошо ездить по Москве,— обращается ко мне Людмила Ильинична.— Он как будто жил тут во все эпохи.

— С Милей,— улыбается Толстой,— еще лучше. Она замечает прелестные подробности. Помнишь, в Преображенском?

Толстым уже не до меня. Прощаемся. Антокольский разрешил прийти на одно, только на одно занятие литобъ-

единения («там будут поэты получше тебя»). Я впервые услышу Александра Межирова, Веронику Тушнову, Юлию Друнину и до утра буду шататься по Китай-городу с Семеном Гудзенко.

Узнал, что по радио будет передаваться новая глава «Петра» (ее читал сам Алексей Николаевич), и зашел послушать передачу прямо к Толстому, на московскую квартиру.

Виктория! Русская армия берет Нарву.

«Посвистывало, попевало в снастях,— с наслаждением читает Толстой,— хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силой».

Очень скоро в прихожей раздался тот же голос и на той же счастливой ноте зазвучало:

— Из радиокомитета шел пешком. Хорошо в Москве! Сколько свежих, румяных лиц! Победой пахнет! — И вдруг — озабоченно: — Последнее время мало вижу. В костер нужно подбросить дров.

Ослепительно белая скатерть. Белый свет прохладного сентябрьского дня. Высокие зеленоватые бокалы. Сажу за столом и не без смущения смотрю на лежащую нагую Венеру и оголтелых эротов, трубящих в раковины,— меня усадили как раз напротив этой картины.

Разговор шел о времени, как им дорожить, как его беречь. Алексей Николаевич вспомнил свою встречу с Бернардом Шоу. Встреча была назначена на пять часов дня. В ожидании Толстой, поглядывая на часы, разъезжал по Лондону. Ровно в пять он был рядом с Темзой у дверей дома Бернарда Шоу и потянулся к дверному молоточку. Это было излишним: дверь открылась сама, за ней стоял Бернад Шоу.

— Он привык ценить свое и чужое время. Превосходная привычка!

Толстой восхищался корреспондентами «Красной звезды». Вместо того чтобы сесть в редакционный «виллис» и мчаться на нем к телеграфу, они бежали с фронтовыми новостями по тропке через болото и выгадывали пятнадцать минут.

Людмила Ильинична в черном платье села за рояль и

развернула ноты с романсами Рахманинова. Толстой слушал ее пение, опершись на крышку рояля. Рядом с его локтем на сверкающей поверхности лежала рукопись стихов Ксении Некрасовой.

«Счастье — это не состояние,— прочитал я потом в его записной книжке.— Счастье — это богатство мира, нехоженные дороги...»

Во время болезни Алексея Николаевича я по-прежнему приходил к нему в дом, отвлекая от неотложных дел Юрия Александровича Крестинского. Толстой был уже не в силах писать «Петра», но продолжал за кого-то хлопотать, кому-то помогать, читать чьи-то рукописи. Даже у меня через Юрия Александровича попросил новые стихи, и спустя несколько дней я услышал такой ответ:

— Стихи не понравились. Но Алексей Николаевич доволен: «Срыв. Значит, растет».

Девятого мая 1945 года, возвращаясь с Ленинских гор, откуда мы смотрели на салют Победы, Людмила Ильинична сказала нам, ехавшим вместе с ней, а вернее, подумала вслух:

— Сейчас он остановил бы машину, вышел... Кто-нибудь обязательно узнал бы его, завязался бы разговор. А дома мы сели бы рядом прямо на ковер перед горящим камином, и Алексей начал бы опять придумывать свои удивительные истории про древнего человека — как он сидел у костра и что думал, глядя на огонь. У Алексея Николаевича была такая игра.